

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

О любви
и прочих бесах

[роман]



Габриэль Гарсиа Маркес

О любви и прочих бесах

«АСТ»

1994

Маркес Г.

О любви и прочих бесах / Г. Маркес — «АСТ», 1994

ISBN 978-5-271-39304-4

О чем бы ни писал Маркес, он пишет, в сущности, о любви. О любви – и «Сто лет одиночества», и «Вспоминая моих несчастных шлюшек», и, разумеется, «О любви и прочих бесах»... Юную маркизу Марию сочли одержимой бесами и заточили в монастырь. Спасать ее душу взялся молодой священник Каэтано. Родные девушки и благочестивые монахини забыли старинную испанскую пословицу: «Коли огонь к пороху подносят, добра не жди». И что дальше? Любовь! Страсть! А бесов любви и страсти, как известно, не изгнать ни постом, ни молитвой, ни даже пламенем костра...

ISBN 978-5-271-39304-4

© Маркес Г., 1994

© АСТ, 1994

Содержание

От автора	5
Один	7
Два	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Габриэль Гарсиа Маркес

О любви и прочих бесах

Для Кармен Бальсельс, льющей слезы.

Волосы, вероятно, воскресают гораздо раньше остальных частей тела.

Фома Аквинский. О воскресении тела в целом. Раздел 8, гл. 5

От автора

День 29 октября 1949 года выдался скучным на сенсации. Маэстро Клементе Мануэль Сабала, шеф редакции той газеты, где я делал первые шаги в своей карьере, закрыл утреннее совещание пустой напутственной фразой. Никто из сотрудников не получил никакого конкретного задания, и мы собрались разойтись. Тут, однако, зазвонил телефон, шеф услышал, что вскрываются гробницы в старинном монастыре, кратко называемом Санта Клара, и сказал мне без всякого энтузиазма:

– Сходи-ка туда. Может, найдешь что-нибудь интересное.

Древняя святая обитель, превращенная около века назад в больницу, теперь выставлась на продажу, чтобы на ее месте воздвигнуть пятизвездочный отель. Великолепная монастырская капелла находилась в плачевном состоянии из-за насквозь дырявой кровли, но гробницы, где были захоронены представители трех поколений епископов, настоятельниц и других выдающихся личностей, были в целости и сохранности. Их следовало вскрыть, передать останки потомкам, а невестребованное свалить в общую могилу.

Меня впечатлила простота этой операции. Работники, не мудрствуя лукаво, крушили ломом и заступом склепы, извлекали деревянные гробы, которые тут же рассыпались в труху, и стряхивали с костей гниль, клочки одежды и тронутые тленом волосы. Чем знаменитее был покойник, тем резвее шла работа, ибо из всей этой истлевшей мешанины можно было выловить драгоценный камешек или ювелирную поделку.

Начальник заносил мемориальные даты в школьную тетрадку, собирал кости в кучки, а чтобы кучки не смешивались, помечал их бумажками с именем умершего. Таким образом, первое, что я увидел, войдя в собор, был длинный ряд костей и черепов, гревшихся на жарком октябрьском солнце, лучи которого безудержно струились из прогалины в кровле, а также ворох этих бумажек, где, кроме даты и имени покойного, ничего другого обозначено не было. До сих пор, полвека спустя, я не могу отделаться от жуткого впечатления, которое произвело на меня это свидетельство безжалостного хода времени.

Среди прочих там были захоронены вице-король Перу и его тайная любовница, епископ этой провинции Торибио де Касерес-и-Виртудес; несколько настоятельниц монастыря, в числе которых значилась и мать Хосефа Миранда; там же покоился и большой мастер своего дела дон Кристобаль де Эрасо, который посвятил полжизни изобретению звуковой живописи. Была вскрыта и усыпальница с начертанным на ней именем второго маркиза де Касальдуэро, донна Игнасио де Альфаро-и-Дуэньяса, но его склеп, к удивлению, оказался пуст и без всяких признаков использования по назначению. В то же время останки маркизы, доньи Олалии де Мендоса, мирно покоились по соседству в ее собственном склепе. Начальник этому не удивился: вполне возможно, что благородный сеньор предпочел иметь последнее прибежище подальше от нее.

В другом крыле алтаря меня ждал сюрприз. Когда при первом ударе лома крышка очередного гроба распалась на куски, наружу выкатилась волна роскошных, отливавших бронзой волос. Работники общими усилиями вытащили густые волосы, которым, казалось, не было конца и которые никак не отрывались от девичьего черепа. В этой гробнице не обнаружилось более ничего, кроме отдельных костей и поблекшего от времени имени без фамилии: Мария Анхела раба Божья. И – чудесной реки волос длиной двадцать два метра и одиннадцать сантиметров.

Начальник спокойно объяснил мне, что человеческие волосы и после смерти растут по сантиметру в месяц; судя по длине этой более чем двадцатиметровой шевелюры, ей не менее двух сотен лет. Меня, однако, не удовлетворило такое тривиальное объяснение, потому что еще в детстве бабушка рассказала мне легенду об одной юной двенадцатилетней маркизе, за которой ее волосы тащились, как шлейф новобрачной, и которая умерла от укуса бешеной собаки. Народ почему-то считал ее чудотворицей.

Предположение о том, что здесь была захоронена именно она, увенчало в тот день успехом мои репортерские старания и подвигло меня на создание этой книжки.

Габриэль Гарсиа Маркес Картахена де Индиас, 1994.

Один

Серая собака с белой меткой на лбу ворвалась в сумятицу воскресного рынка, сокрушая жаровни с мясом, разметывая хлипкие прилавки с фруктами и разваливая палатки со всякой мишурой, заодно кусая тех, кто попадался на пути. Укушенных оказалось четверо: три невольника-негра и Мария Анхела, единственная дочка маркиза Касальдуэро, которая пришла сюда со служанкой-мулаткой купить гирлянду колокольчиков ко дню празднования своего двенадцатилетия.

Обеим было не велено входить в ворота рынка, но служанка сообразила, что проникнуть внутрь можно по мосту со стороны Гефсиманского предместья и, кстати, узнать, что за шум и гам стоит у причала в порту, где обычно торгуют черными рабами из Гвинеи.

Корабль компании «Гадитано де Негрос», которого с тревогой ждали уже целую неделю, наконец вошел в порт. До этого стало известно, что на борту свирепствует страшный мор. Корабль бросил якорь далеко от причала, и моряки выбрасывали трупы рабов в море без всякого балласта. Волны подхватывали вздувшиеся тела с землистыми лицами и выбрасывали на берег. Люди не знали, была ли тому виной какая-то чума африканская или отравление испорченной пищей.

В тот час, когда серая собака металась по рынку, шла продажа выживших негров, значительно уцененных из-за истощившей их болезни. Продавцы старались возместить себе ущерб за счет одной рабыни, которая стоила всех остальных. Это была абиссинка ростом в два метра, лоснившаяся от сахарной мелассы, которой ее намазали вместо обычного жира, и поражавшая несказанной красотой: точеный нос, круглая, как тыква, голова; миндалевидные глаза, жемчужные зубы и гордая стать римского гладиатора. Ее не выводили на помост со всеми остальными рабами, не восхваляли молодость или здоровье, а рассчитывали выгодно продать за одну лишь внешность. Губернатор купил ее, не скупясь и не торгуясь, за бешеные деньги. «Абиссинка – на вес золота», – говорили люди.

В ту пору никого не удивляло то, что бродячие собаки, гоняя по улицам кошек или отбивая у стервятников падаль, кусали людей. Чаще всего такое случалось в воскресные дни на рынке или во время толкотни у причала, когда люди глазели на корабли-галеоны, проходившие мимо на праздник в Портобело. Пять-шесть укусов за день не считалось событием большой важности, тем более такая пустяковая ранка, как у Марии Анхелы, которая даже не взглянула на левую покусанную щиколотку. Да и служанка не придавала этому значения и ограничилась тем, что приложила к ноге девочки лимон с сахаром, промыла ранку цыплячьей кровью, и помыслы всех и вся снова обратились к празднованию двенадцатилетия Марии Анхелы.

Бернарда Кабрера, мать девушки и нетитулованная супруга маркиза Касальдуэро, в то утро производила капитальную очистку кишечника, приняв семь таблеток сурьмы на стакан розовой воды. Она была яркой представительницей так называемой торгашеской знати: обольстительная, хищная, разудалая и такая жадная на еду, что ей могло бы не хватить и рациона целой казармы. Потому не прошло и нескольких лет, как она перестала блистать в обществе из-за чрезмерного потребления медовухи и возбуждающе крепкого какао. Ее цыганские глаза погасли, лихость иссякла, кровь изрядно разбавилась желчью, а тело античной сирены вспухло и пожелтело, как у покойника трехдневной давности. При этом ее мучило постоянное вздутие кишок и неблагоприятные звучные выхлопы, пугавшие цепных псов. Она почти не покидала спальню, да и там ходила в чем мать родила или накидывала капот из легкой саржи на голое тело, отчего казалась еще более голой.

Бернарда уже успела семь раз основательно облегчиться, когда служанка с Марией Анхелой вернулась домой, но ничего ей не сказала о собачьем укусе. Зато с жаром сообщила хозяйке в подробностях о наделавшей много шума продаже рабыни. «Если она так хороша, как гово-

ришь, то, может, и в самом деле она абиссинка», – сказала Бернарда. Да будь эта раба хоть сама царица Савская, вряд ли кто-нибудь мог купить ее за золото по весу тела, думалось ей, и она заметила:

– Наверное, за золотые песо.

– Нет, – возразила служанка, – за столько золота, сколько весит негритянка.

– Раба в семь четвертей весит не меньше ста двадцати фунтов, – сказала Бернарда. – Нет такой ни белой, ни черной женщины, которая стоила бы сто двадцать фунтов золота, если только из нее вместо дерьма брильянты не лезут.

Никто не мог перешеголять ее в опыте по части работорговли, и она была убеждена, что губернатор не станет покупать такую дорогую невольницу только для грязной работы на кухне. В эту минуту слышались звонкие переливы свирели и треск петард, и тут же хором залаяли собаки на цепях. Бернарда вышла в апельсиновый сад посмотреть, что там происходит.

Дон Игнасио де Альфаро-и-Дуэньяс, второй маркиз Касальдуэро и сеньор дель Дарьей, лежа в гамаке среди апельсиновых деревьев в час сыесты, тоже слышал шум и музыку. Был он человеком угрюмым, болезненным и мертвенно-бледным из-за того, что во сне по ночам его кусали летучие мыши-кровососы. Дома маркиз ходил в персидском халате и в толедском колпаке, что придавало ему еще более унылый и отрешенный вид. Увидев супругу в ее перво-зданном виде, он поспешил спросить:

– В честь кого музыка?

– Не знаю, – сказала она. – Какое сегодня число?

Маркиз тоже не знал. Да и не очень этим интересовался, чтобы продолжать расспрашивать свою жену, а она слишком была озабочена своим желудком и желчным пузырем, чтобы ответить ему без раздражения. Он снова улегся в гамак, слегка мучимый любопытством, ибо трескотня петард не прекращалась.

– Господи! – воскликнул он. – Да какое же сегодня число?

Дом маркиза соседствовал с приютом Святой Девы для слабоумных женщин. Возбужденные музыкой и стрельбой, они высыпали на террасу, выходящую прямо в апельсиновый сад маркиза, и встречали каждый громкий хлопок петард визгом и воплями. Маркиз спросил у них, кто и что там празднует, и они его просветили. Было седьмое декабря, день Святого епископа Амброзия, а музыку играли и пальбу открывали во дворе для рабов в честь Марии Анхелы. Маркиз хлопнул себя по лбу.

– Правильно, – сказал он. – Сколько ей минуло?

– Двенадцать, – сказала Бернарда.

– Только двенадцать? – сказал он, снова растянувшись в гамаке. – Как медленно идут годы!

Ранее, при первом маркизе, дом был городской достопримечательностью. Ныне же он обветшал и посуровел и, казалось, вот-вот совсем осиротеет: огромные комнаты были полупусты, а многие предметы стояли явно не на своих местах. В некоторых салонах еще сохранились мраморные в шашечку полы и люстры с подвесками, затянутые паутиной. Мягкая мебель отсырела и промерзла за каменными стенами под декабрьскими влажными ветрами, которые, посвистывая, проникали внутрь сквозь щели. В целом дом представлял собой печальное зрелище: мрак и запустение. Единственное, что напоминало о прежнем великолепии, были пять огромных сторожевых псов, охранявших по ночам покой хозяев.

Просторный двор для невольников, где праздновался день рождения Марии Анхелы, был во времена первого маркиза своеобразным городом в городе и при втором маркизе жил своей особой жизнью, пока худо-бедно шла торговля рабами и мукой под не особо заботливым при-смотром Бернарды, изредка навещавшей сахарный заводик в Махатесе. Позже все пришло в упадок. Бернарду совсем одолели и страсти, и недуги, а в некогда кипевшем жизнью большим

дворе-патио сохранилась лишь пара деревянных бараков, крытых пальмовым листом, жалких остатков бывшего цветущего хозяйства.

Доминга, чистокровная негритянка, железной рукой управлявшая домом почти до самой своей смерти, была единственным связующим звеном между двумя домашними мирами. Здорová и могучая, разумная до ясновидения, Доминга одна вырастила и выходила Марию Анхелу. Она приняла католическую веру, не отказавшись от своей йорубы, и поклонялась всем святым одновременно и без разбора. Душа ее блаженствовала в мире и покое, ибо то, чего ей недоставало в одной религии, она находила в другой. Доминга также была единственным существом, к которому прислушивались и даже ценили маркиз и его супруга. Только ей удавалось наводить порядок среди вздоривших друг с другом черных рабов, выметая метлой из пустых господских покоев тех из них, кто предавался там любовным утехам. Но когда Доминга умерла, рабы, спасаясь от полуденной жары, удирали из бараков в дом и валялись там по углам и в прохладных коридорах, выскребая остатки риса из кастрюль или сражаясь в карты. В этом мире забитых людей, где не знали свободы, только Мария Анхела ее знала, только она одна и только там, среди них. Потому-то именно во дворе-патио праздновался ее день рождения, где был ее настоящий дом и настоящая семья.

Трудно представить себе, как можно танцевать и веселиться под такую музыку среди своих и других рабов, пришедших из соседних домов. Но девочка показала, на что она способна: танцевала более грациозно и темпераментно, чем сами африканцы, пела на разные голоса – по-испански и на разных языках Африки, подражала всяким тварям и птицам, приводя последних в полное изумление.

По распоряжению Доминги молодые невольницы мазали ей лицо сажей, вешали на шею ожерелья жрецов сантерии поверх христианской ладанки и причесывали никогда не стриженные волосы, которые, не заплетая, они ей каждый день косы и не укладывая их ей венцом на голове, путались бы в ногах девочки.

Вот так, на перепутье чуждых друг другу культур, начиналась юность Марии Анхелы. Она ничего не заимствовала у матери, но унаследовала от отца худобу, замкнутость, бледность лица, сумеречную голубизну глаз и яркую медь волос. Она была столь тихой и незаметной, что казалась невидимой. Такое странное поведение пугало ее мать, которая, чтобы дочь не затерялась где-то в лабиринте комнат, нацепила на нее колокольчик.

Спустя два дня после праздника служанка мимоходом сообщила Бернарде, что Марию Анхелу покусала собака. Бернарда выслушала ее в тот час, когда принимала перед отходом ко сну шестую горячую ванну с душистым мылом. Возвратившись в спальню, она совсем забыла о новости. И не вспоминала до следующей ночи, когда псы без всякой причины лаяли до рассвета, – уж не взбесились ли они вдруг? С подсвечником в руках Бернарда направилась к баракам во дворе, где и нашла Марию Анхелу, спавшую в холщовом гамаке, который достался ей после кончины Доминги. Поскольку служанка не сказала, в какое место девочку укусила собака, мать откинула покрывало и со вниманием обследовала ее тело, обвитое толстой распущенной косой, словно львиным хвостом. Наконец место укуса было найдено: всего лишь ранка с засохшей кровью на левой щиколотке и чуть заметная царапина на пятке.

В городских анналах сохранились описания не только обычных, но и из ряда вон выходящих случаев заражения бешенством. Наиболее популярной была история о бродячем циркаче и его дрессированной обезьянке, своими ужимками и манерами очень походившей на человека. Обезьянку одолело бешенство во время английской морской блокады города. Она укусила хозяина в физиономию и удрала в ближние горы. Беднягу циркача прикончили одним ударом дубины, когда он корчился в страшных судорогах, о чем матери еще много лет пели в колыбельных песнях, утихомиривая детей на ночь. Через две недели орда озверевших макаков спустилась с гор при свете дня. Они разнесли в щепы курятники и свинарники и ворвались в собор, завывая и захлебываясь кровавой пеной, как раз во время благодарственного молебна

в честь прорыва блокады и победы над английским флотом. Однако самые жуткие случаи не вошли в историю города, ибо происходили с неграми, которых родственники укрывали в потаенных местах и лечили средствами африканской магии.

Несмотря на все эти кошмарные происшествия, ни белые, ни черные, ни индейцы и думать не думали о бешенстве или о какой-либо другой, не сразу проявлявшейся болезни, пока не обнаруживались угрожающие признаки летального исхода. Бернарда Кабрера в этом ничем не отличалась от других. Она полагала, что рассказы лежковерных рабов слишком пугающи по сравнению со свидетельствами христиан и что какой-то собачий укус не может нанести ущерб достоинству благородной семьи. Она была настолько уверена в своей правоте, что даже не сообщила о случившемся супругу и сама не вспоминала о том до следующего воскресенья, когда служанка одна пошла на рынок и увидела труп собаки, повешенной на миндалевом дереве для оповещения людей о том, что она сдохла от бешенства. Служанке было достаточно одного взгляда, чтобы заметить белое пятно на серой морде и понять, кто укусил Марию Анхелу. Тем не менее Бернарда, услышав рассказ, не встревожилась. Не было повода: ранка засохла, краснота или опухлость не появились.

Декабрь принес с собой ненастье, но вскоре отогрел свои холодные аметистовые вечера и промозглые ночи. Рождество выдалось радостнее, чем в прежние годы, из-за добрых вестей из Испании. Но город в эту пору изменился. Основная торговля рабами переместилась в Гавану, а владельцы рудников и земель этой части Испанской империи предпочитали приобретать рабочую силу – контрабандой и по дешевке – на английских Антиллах. В зависимости от времени года появлялись будто два разных города: один живой и многолюдный, пока в течение шести месяцев в порт то и дело заходили корабли, и второй – сонный и меланхоличный, остальные полгода ожидавший их возвращения.

Об укушенных не было никаких известий до начала января, когда одна бродячая индейка, которую знали под именем Сагунта, не постучала в дверь к маркизу в святой час дневной сьесты. Она была очень стара и ходила босиком в любую погоду, опираясь на посох, кутаясь с головы до ног в белый саван. За ней тянулась дурная слава мастерицы делать аборт и восстанавливать девственность, хотя при этом она, зная секреты индейцев, была готова помочь и безнадежно больным.

Маркиз нехотя встретил ее, не пригласив пройти в комнаты, и долго не мог понять, с чем она пожаловала, ибо старуха была чрезвычайно многословна, но осторожна в выражениях и, не выдавая цели своего визита, все ходила вокруг да около. Маркиз, устав от бесконечных намеков и околичностей, потерял терпение.

– Довольно темнить, выкладывайте все начистоту.

– Нам грозит беда, повальное бешенство, – сказала Сагунта. – Но только у меня одной есть ключи святого Умберто, защитника охотников на диких зверей и целителя всех, кто подхватит бешенство.

– Не вижу никаких признаков беды, – сказал маркиз, – нет и дурных предзнаменований – ни комет, ни затмений, насколько мне известно. Да и грехи наши не столь велики, чтобы Бог нас так покарал.

Сагунта сообщила, что в марте ожидается полное затмение солнца, и рассказала о всех укушенных в первое воскресенье декабря. Двое негров бесследно исчезли, – их наверняка спрятали родные, чтобы исцелить или воскресить, а третий умер от бешенства ровно через неделю. Был там и четвертый, которого собака не укусила, а лишь облизывала, но и он вот-вот испустит дух в больнице Милости Божьей. Главный альгуасил велел отравить сотню бродячих собак до конца месяца. Ныне не найти ни одной такой в городе.

– Я все-таки не понимаю, зачем мне надо слышать обо всем этом, – сказал маркиз. – Да еще в благословенный час сьесты.

– Первой, кого укусила собака, была ваша дочь, – сказала Сагунта.

На что маркиз уверенно ответил:

– Если бы такое случилось, я бы первым о том узнал.

Он видел, что девочка жива-здоровая, и верил, что от него никогда бы не утаили такую жуткую весть. Он дал понять, что визит окончен, и отправился завершать прерванную сесту.

Однако тем же вечером он пошел навестить Марию Анхелу во двор. Она помогала там сдирать шкурку с кроликов. Лицо ее было измазано сажей, ноги босы, а голову украшал пестрый негритянский тюрбан. Он спросил, правда ли, что ее укусила собака, и она, не колеблясь, ответила «нет». Однако Бернарда той же самой ночью сообщила обратное. Маркиз спросил в растерянности:

– Почему же Мария это отрицает?

– Потому что правду из нее каленым железом не вырвешь, – сказала Бернарда.

– Все-таки надо понаблюдать за ней, – сказал маркиз. – Ее жизни грозит опасность.

– Совсем наоборот, – сказала Бернарда. – Собака укусила ее и сама сдохла. Уже прошло немало времени, а девчонка цветет и не хиреет.

Тем не менее родители стали больше прислушиваться к разговорам об ужасах бешенства и вопреки обычаю начали обмениваться репликами по поводу общих дел, как в те времена, когда они еще не столь ненавидели друг друга. Мысли маркиза заметно прояснились: до этой поры он полагал, что дарит дочери отцовскую любовь, но только теперь, ввиду грозящей ей смертельной опасности, признал, что обманывал себя ради своего душевного спокойствия.

Бернарда, напротив, никогда не задавалась подобным вопросом, так как прекрасно знала, что не любит дочь, а дочь не любит ее; и то, и другое она находила в порядке вещей. Неприязнь, которую родители испытывали к девочке, проистекала из того, что Мария Анхела не любила ни мать, ни отца. При этом Бернарда вполне смогла бы изобразить горе по случаю ее смерти, обливаясь слезами и облачившись в траур безутешной матери, чтобы не уронить честь семьи, если бы девочка умерла от какой-нибудь приличной болезни.

– Не важно от какой, – уточняла она, – лишь бы не от укуса бешеной собаки.

В этот миг маркиз понял, – словно бы на него нашло озарение, – что именно дочь составляет смысл его жизни.

– Девочка не умрет, – решительно сказал он. – Но если и умрет, то по воле Божьей.

И маркиз отправился в больницу Милости Божьей у горы Сан-Ласаро взглянуть на того укушенного человека, о котором говорила Сагунта. Он не отдавал себе отчета в том, что его карета, обтянутая темным, словно похоронным, крепом, может быть воспринята за симптом некоего тайно назревавшего несчастья, поскольку многие годы в ней выезжали из дому лишь по очень важным обстоятельствам, а что может быть важнее горестной утраты.

Город тонул в своей суетной повседневности, но кое-кто все же успел заметить скорбную физиономию и потухшие глаза незнакомого сеньора в темной карете, которая выбралась из каменного лабиринта улиц и направилась через поля к горе Сан-Ласаро.

В больнице валявшиеся на голом полу прокаженные, завидев траурный кортеж, бросились к карете просить милостыню. В помещении для безнадежных больных лежал человек, привязанный к нарам.

Это был старый мулат с белыми, как кипень, головой и бородой. Половина тела была у него парализована, но ярость наливалась вторую половину такой силой, что его связали, дабы он не расшибся об стену. Из его слов вполне можно было понять, что его укусила та же серая собака с белым пятном на лбу, что и Марию Анхелу. Даже не укусила, а лишь облизывала, но не здоровое место, а язву под коленкой. Это уточнение отнюдь не успокоило маркиза, который покинул больницу в полном расстройстве от общения с умирающим и потеряв всякую надежду на чудесное спасение Марии Анхелы.

Возвращаясь в город, он заметил у подножия горы человека тучной комплекции, сидевшего на камне у самой дороги возле мертвой лошади. Маркиз остановил карету, и только когда

человек поднялся, узнал в нем лиценциата Абренунсио де Са-Перейра-Као, самого известного в городе медика и большого спорщика, участника всех научных и ненаучных диспутов. Типичный «король простолюдинов»: большая широкополая шляпа, ботфорты и черный плащ ученого мужа. Он приветствовал маркиза не совсем обычным образом, – на латинском языке:

– Благословен будь тот, кто идет к истине.

Его лошадь не смогла одолеть спуск с того горного склона, на который вбежала рысью, и у нее случился разрыв сердца. Нептуно, кучер маркиза, начал было снимать с нее седло. Хозяин лошади его остановил.

– Зачем мне седло, если некого седлать, – сказал он. – Оставь, пусть сгниет с ней вместе.

Кучер помог дородному лиценциату влезть в карету, а маркиз оказал ему честь, предложив сесть справа от себя. Абренунсио никак не мог забыть свою лошадь.

– Я будто полтела лишился, – вздохнул он.

– Стоит ли так убиваться из-за сдохшего коня? – заметил маркиз.

Абренунсио горячо возразил:

– Из-за такого – стоит! Если бы у меня были деньги, я похоронил бы его на кладбище. – Он взглянул на маркиза и добавил: – В октябре моему коню исполнилось сто лет.

– Едва ли найдется конь, который столько бы протянул, – сказал маркиз.

– Не найдется. Могу доказать, – сказал медик.

По вторникам он посещал больницу Милости Божьей, где лечил прокаженных от их других болезней, и был он любимым учеником лиценциата Хуана Мендеса Нието, португальского еврея, который эмигрировал в страны Карибского моря из-за гонений на семитов в Испании. Абренунсио унаследовал его дурную славу заклинателя духов и ярого полемиста, но также и его безграничные знания. Дебаты с другими медиками, которые не соглашались с его парадоксальными умозаключениями и с его сверхсмелыми методами лечения, не имели конца и часто переходили в потасовки. Абренунсио изготавил пилюлю, которую надо принять лишь раз в году, чтобы надолго повысить свой жизненный тонус и обеспечить себе долголетие, но вначале на целых три дня снадобье ввергает в состояние, подобное белой горячке, и потому, кроме него самого, никто не рисковал принимать чудотворную пилюлю. Для лечения душевнобольных он перебирал струны арфы у их изголовья, умиротворяя их специально подобранной музыкой. Он никогда не прибегал к хирургическому вмешательству, которое считал делом варваров и заумных латинистов, а его основной и внушающей страх специальностью было определение дня и часа смерти больного. В целом же крепким основанием для его многоликой славы служил один, никем не опровергнутый факт: однажды он сумел воскресить мертвеца.

Несмотря на всю свою многоопытность, Абренунсио был заметно расстроен состоянием мулата, одержимого бешенством.

– Тело человеческое не рассчитано на те годы, которые человек в состоянии прожить, – говорил он.

Маркиз с напряженным вниманием слушал его уснащенную деталями и яркими примерами речь, и только когда медик умолк, спросил:

– Все же, что еще можно сделать с этим беднягой?

– Прикончить, – сказал Абренунсио.

Маркиз с ужасом взглянул на него.

– Именно так надо поступить, если бы мы были добрыми христианами, – бесстрастно продолжал медик. – И поверьте мне, сеньор: добрых христиан на свете больше, чем все думают.

Прежде всего он имел в виду христиан – бедняков всякого цвета в трущобах и на полях, у которых хватало духу подсыпать яд в пищу зараженных бешенством родных, дабы избавить их от мучений перед смертью. Так, например, в конце прошлого века целая семья съела отравленную похлебку, ибо никто из домочадцев не решился отравить пятилетнего ребенка.

– Думают, что мы, врачеватели, не знаем о таких случаях, – заключил Абренунсио. – Нет, мы знаем, но не обладаем достаточным авторитетом, чтобы разрешить благую смерть, и поступаем с умирающими так, как вы уже видели: препоручаем их святому Умберто и привязываем к нарам, дабы им подольше мучиться и агонизировать.

– Неужели нет абсолютно никакого лекарства? – спросил маркиз.

– После первых приступов бешенства уже ничто не спасает, – ответил медик и рассказал о пустопорожних предписаниях, якобы излечивающих эту болезнь с помощью лекарств на основе земляной желчи, киноvari, мускуса, аргентинской ртути или пурпурной анагаллы.

– Чушь собачья, – сказал он. – Бывает, когда одних поражает бешенство, а других нет, и проще простого сказать, что тут помогли их снадобья.

Медик взглянул на маркиза, желая удостовериться, что тот не уснул, и спросил:

– Из-за чего вас все это так интересует?

– Из жалости к несчастным, – солгал маркиз и посмотрел из кареты на море, затихшее в летаргическом сне послеобеденной сьесты, и горестно вздохнул, взглянув на круговерть стремительных ласточек. Морской бриз еще не шевелил воздуха. Стайка мальчишек бросала камни в одинокую чайку на жарком берегу, и маркиз проводил глазами вспорхнувшую птицу, которая вскоре скрылась за блестевшими на солнце крепостными башнями города.

Карета въехала в каменный уличный лабиринт через городские ворота Медиа-Луны, и Абренунсио стал объяснять кучеру, как проехать к своему дому сквозь многолюдье окраины. Это оказалось делом нелегким. Старому Нептуно уже перевалило за семьдесят, а кроме того, он был робок и близорук и привык к тому, что лошадь сама без его указки следует своим привычным путем. Когда наконец они добрались до искомого дома, Абренунсио изрек на прощание что-то из Гомера.

– Я не знаю латыни, – извинился маркиз.

– Вам ее знать не обязательно, – сказал Абренунсио. И сказал это, понятно, по-латыни.

После основательной очистки желудка раствором сурьмы Бернарда всякий раз погружалась в прохладные воды ванны по три раза на день, чтобы приглушить пожар в кишках, или принимала до шести горячих ванн с ароматным мылом, чтобы успокоить нервы. Увы, у нее уже ничего не осталось от той юной девы, пускавшей в коммерческие авантюры, которые всегда успешно завершала благодаря чутью, ее не подводившему. Успех в делах сопутствовал ей до той поры, пока она не встретила, на свое несчастье, с Иудой Искарриотом.

Бернарда увидела его впервые на одной из праздничных арен, где он голыми руками без всяких защитных приспособлений брал свирепого быка за рога. Его отвага и красота поразили ее воображение. Несколько дней спустя она вновь увидела его на карнавальном празднестве, куда явилась в костюме нищенки с маской на лице и в окружении своих невольниц, разодетых в платья маркиз с золотыми ожерельями, браслетами и серьгами с драгоценными камнями.

Посреди большого круга зевак Иуда танцевал с каждой женщиной, которая ему за это платила, и от претенденток, стоявших в очереди, не было отбоя. Бернарда его спросила, сколько он стоит. Иуда, не прерывая танца, ответил:

– Полреала.

Бернарда сняла маску.

– Я спрашиваю, сколько стоит твоя жизнь, – сказала она.

Иуда, увидев ее холеное лицо, понял, что перед ним не нищенка. Он бросил свою партнершу и направился к ней вразвалку, дабы набить себе цену.

– Пятьсот золотых песо, – сказал он.

Наметанным глазом опытной торговли она оценивала его достоинства: фигура высоченная, кожа гладкая, как у тюленя; торс мускулистый, бедра узкие, ноги стройные, а пластичные движения никак не вязались с грубой работой борца. Бернарда сказала:

– Твой рост – восемь четвертей.

– И три дюйма, – уточнил он.

Бернарда наклонила ему голову, чтобы осмотреть зубы, и ее бросило в жар от терпкого запаха его потных подмышек. Зубы у него были без изъяна – ровные и здоровые.

– Твой хозяин – болван, если думает, что тебя кто-нибудь купит по цене живой лошади.

– Я – человек свободный и продаю себя сам, – ответил он и добавил с усмешкой: – сеньора...

– Маркиза, – добавила она.

Он отвесил ей церемонный поклон, который окончательно ее сразил, и она купила его за половину назначенной им суммы. «Лишь ради удовольствия полюбоваться тобой», – пояснила она.

Уважая его статус свободного человека, Бернарда разрешила ему выступать в цирке с быком. Она поселила его неподалеку от себя в пристройке для конюхов и ждала его уже в первую ночь, обнажившись и отперев дверь в полной уверенности, что он явится без приглашения. Однако ей пришлось еще недели две томиться бессонницей и неудовлетворенной страстью.

Случилось так, что, узнав, кто она такая, и увидев изнутри ее дом, он снова ощутил себя черным рабом. Однако когда Бернарда уже перестала его ждать, облачилась в пеньюар и закрыла дверь на задвижку, он влез в окно. Ее разбудил резкий запах мужского пота. Она услышала шумное дыхание минотавра, на ощупь искавшего ее во тьме, ощутила жар чужого тела, тяжелые руки, срывающие пеньюар, и почувствовала, что раскалывается на две половины и слышит свирепый шепот: «Шлюха, шлюха». С той ночи Бернарда поняла, что больше ничем иным в жизни заниматься не хочет.

Она сходила по нем с ума. Вечерами оба посещали танцы при свечах на окраине города. Он был одет как кабальеро: в камзоле и широкополой шляпе, купленной ему Бернардой по его вкусу, а Бернарда сначала надевала разные маски, но потом стала танцевать с открытым лицом. Она украшала негра золотыми цепями, кольцами и браслетами и даже инкрустировала ему в зубы бриллианты. Она едва не умерла, когда узнала, что он ублажает всех, кого ни попадая, но в конечном счете смирилась с тем, что он дарит другим свои излишки. Однажды Доминга вошла в ее спальню в час съесты, думая, что Бернарда на сахароварне, и застала их нагишом на полу в конвульсиях любви. Рабыня замерла в дверях, не веря своим глазам.

– Чего ты там стоишь как вкопанная?! – воскликнула Бернарда. – Или убирайся вон, или иди к нам!

Доминга удалилась, так громко хлопнув дверью, что Бернарда явно ощутила оплеуху. Она вызвала служанку тем же вечером и пригрозила самым страшным наказанием, если та хоть заикнется кому-нибудь о виденном.

– Не беспокойтесь, белая госпожа, – ответила рабыня. – Вы можете запретить мне делать то или иное, и я подчинюсь. – И добавила: – Беда в том, что вы не можете запретить мне думать то, что я думаю.

Если маркиз об этом и узнал, то сделал вид, что ничего не знает и знать не хочет. Мария Анхела стала единственной нитью, которая еще связывала его с женой, но в ту пору он считал дочь не родной, а отпрыском только Бернарды. Бернарда даже не думала о дочери и вообще забывала о ее существовании. Вернувшись однажды из своих длительных отлучек на сахароварню, она едва узнала девочку, такой взрослой, совсем девушкой та ей показалась. Мать призвала дочь к себе, осмотрела ее со всех сторон, расспросила о жизни, но в ответ не услышала ни единого слова.

– Ты – точь-в-точь твой отец, – сказала она. – Бестолочь и выродец.

Такова была домашняя атмосфера к тому дню, когда маркиз поехал в больницу Милости Божьей. Вернувшись, он не терпящим возражения тоном заявил Бернарде, что отныне берет

в свои руки бразды правления в доме. Столько тихой ярости слышалось в его голосе, что Бернарда предпочла не возражать.

Первым, что он сделал, было переселение девочки в спальню ее бабушки-маркизы, откуда Бернарда ее когда-то отправила в барак для невольников. Былая роскошь дремала здесь под слоем пыли: королевская кровать с блестящими медными спинками, которые прислуга принимала за золотые; москитная сетка – словно легкая фата новобрачной; богатые узорчатые покрывала с бахромой, алебастровый умывальник с рядами бесчисленных флаконов с духами и маслами, фарфоровые плевательница, рвотница и ночная ваза, – таким был этот сказочный мир, который разбитая ревматизмом старуха мечтала оставить дочери, но дочери у нее не было, а внучку она никогда не видела.

Рабы наводили лоск на спальную комнату, а маркиз принялся устанавливать свой порядок во всем доме. Первым делом он изгнал рабов, дремавших в тени внутренних аркад, и пригрозил поркой и оскотечением тем, кто мочился в углах или баловался азартными играми в запертых комнатах. Подобные распоряжения были не новы, и выполнялись они с большим рвением, когда Бернарда была в силе, а Доминга ей помогала. В ту пору маркиз громогласно произнес свою историческую фразу: «В моем доме хозяин – я». Но когда Бернарда утонула в дурманном мире медовухи какао, а Доминга отдала Богу душу, рабы опять стали шаг за шагом просачиваться в дом: сначала внедрялись женщины со своим потомством для помощи в нескончаемых домашних хлопотах, а потом прокрадывались и мужчины подремать в прохладных коридорах. Бернарда, напуганная призраком разорения, велела им всем зарабатывать себе на пропитание на улицах, прося подаяние. Однажды, впав в отчаяние, она решила отпустить рабов на свободу, оставив двух или трех для домашних дел, но маркиз выступил против, выдвинув довольно нелепый довод: «Если им суждено умереть с голоду, пусть умирают здесь, а не где-нибудь в подворотне». Подобное легкое разрешение проблемы не пришло ему в голову, когда собака укусила Марию Анхелу. Далее он назначил самого авторитетного и, по его мнению, надежного раба главным надсмотрщиком и велел ему строжайшим образом следить за исполнением всех своих приказов. Такое начальственное рвение удивило даже Бернарду. В ту самую ночь, когда была завершена – впервые после смерти Доминги – уборка всего дома, маркиз отправился в барак для невольников, где Мария Анхела спала в одном из дюжины гамаков рядом с молодыми негритянками. Он разбудил всех и огласил новые правила домашнего устройства.

– С сегодняшнего дня Мария Анхела будет жить в доме, – сказал он. – Знайте, что ни здесь и нигде во всей Империи у нее нет другой семьи, кроме нас, белых.

Девочка молча отшатнулась, когда он хотел взять ее за руку и отвести в спальню, и ему пришлось втолковать ей, что на всем свете слово мужчины – закон. Даже в бабушкиной спальне, когда он приказал ей сменить холщовый балахон рабов на ночную рубашку, она не проронила ни слова. Бернарда, стоя в дверях, наблюдала такую картину: маркиз сидел на кровати и неловко пытался застегнуть пуговицы на новой рубашке дочери, а дочь стояла неподвижно перед ним и бесстрастно на него пялилась. Бернарда не смогла не съязвить.

– Ни дать ни взять – новобрачные, – сказала она. Маркиз смолчал, и она добавила: – А почему бы нам еще не нарожать полукровок-маркизеток с куриными лапками и не сбывать их в цирк?

По правде говоря, в Бернарде тоже что-то изменилось. Несмотря на ехидный тон, ее лицо не выражало злорадства, а в голове промелькнула нотка сочувствия, которого маркиз не приметил. В ответ на молчание она бросила Марии Анхеле:

– Потаскушка!

Ей показалось, что в глазах девочки вспыхнул интерес.

– Ты знаешь, что такое «потаскуха»? – спросила она с любопытством, но Мария Анхела не удостоила ее ни единым словом, дала отцу уложить себя в постель, поправить пуховые

подушки, накрыть ноги простыней, пахнувшей кедровым комодом. На маркиза она тоже не бросила ни единого взгляда. У него сердце дрогнуло от жалости.

– Ты молишься перед сном?

Девочка даже не взглянула на него. Она свернулась калачиком, как в гамаке, и уснула без всяких добрых пожеланий на ночь. Маркиз осторожно задвинул москитный полог, чтобы летучие мыши не пили у нее кровь во сне. Было, наверное, часов десять вечера, и хор душевнобольных соседок невыносимо гулким эхом отзывался в пустом после изгнания рабов доме.

Маркиз спустил с цепи псов, которые кинулись к дверям бабушкиной спальни, обнюхивая ручки двери и отрывисто лая. Маркиз кончиками пальцев почесал каждого за ухом и обрадовал приятной новостью:

– Это Мария Анхела, и отныне она будет жить с нами.

Он спал мало и плохо из-за сумасшедших соседок, горланивших до двух часов ночи. Поднявшись с петухами, он направился в комнату девочки, но ее там не оказалось. Негритянка, спавшая у самой двери барака для рабов, вскочила в испуге.

– Она сама пришла, сеньор, одна пришла, – залепетала невольница. – Я даже ее и не видела.

Маркиз не сомневался, что так оно и было. Он спросил, кто из женщин сопровождал Марию Анхелу на рынок, где ее укусила собака. Отозвалась дрожащая от страха мулатка по имени Каридад. Маркиз ее успокоил.

– Поручаю ее твоим заботам. Будешь при ней, как была при ней Доминга.

Он велел ни на минуту не упускать девочку из виду и обращаться с ней хорошо и уважительно, но строго. Главное, чтобы она не забредала за колючую изгородь, которая будет отделять двор невольников от господского дома. Каждое утро после пробуждения и каждую ночь перед сном Каридад должна давать ему полный отчет без всяких напоминаний.

– Следи за всем, что случается и как делается, – заключил маркиз. – Отныне ты одна будешь в ответе за то, чтобы этот мой наказ строго выполнялся.

* * *

В семь утра, посадив псов на цепь, маркиз поехал навестить Абренунсию. Медик сам открыл ему дверь, ибо не имел ни слуг, ни рабов. Маркиз поспешил бросить себе упрек.

– Сейчас, конечно, не время для визитов... – сказал он.

Но медик принял его с распростертыми объятиями в благодарность за подаренного коня. Он тут же повел гостя к пустой кузнице, где под навесом торчал лишь ржавый горн. Красавец конь, резвая двухлетка, заметно волновался, оказавшись в чужом стойле. Абренунсию похлопал коня по холке и прошептал на ухо что-то ласковое по-латыни.

Маркиз сообщил ему, что его лошадь похоронена на старом кладбище больницы Милости Божьей, где хоронили богатых горожан во время чумы. Абренунсию горячо поблагодарил его за благодеяние, но спросил, почему маркиз старается держаться подальше от коня? В ответ на вопрос тот признался, что никогда в жизни не ездил верхом.

– Я боюсь лошадей – так же как кур, – сказал он.

– Очень жаль. Человечество многое потеряло, не общаясь с лошадьми, – сказал Абренунсию. – Если мы когда-нибудь с ними сблизимся, сможем породить кентавра.

Внутренние помещения, залитые светом из двух окон, выходящих на море, были прибраны с дотошной скрупулезностью заядлого холостяка. Воздух благоухал ароматическими бальзамами, что укрепляло веру во всемогущество медицины. На письменном столе царил полный порядок, а в застекленном шкафу рядами стояли фарфоровые плошки с надписями по-латыни. В углу покоилась медицинская арфа, припудренная позолотой. Но прежде всего в глаза бросалась масса книг в старинных переплетах с названиями на латинском языке. Книги заполняли шкафы и этажерки, высились стопками на полу, а медик пробирался между всеми

этими бумажными нагромождениями с легкостью слона в цветнике. Маркиз был потрясен таким скоплением ученых трудов.

– В этой комнате, наверное, собрана вся людская премудрость, – сказал он.

– Сами по себе книги ничего не стоят, – ухмыльнулся Абренунсио. – Но с моим опытом жизни помогают устранять вред, который наносят иные врачеватели своими лекарствами.

Медик согнал спящего кота с большого дивана и пригласил маркиза сесть, угостил его снадобьем из трав и стал потчевать рассказами о своих медицинских успехах до тех пор, пока гость вконец не утомился. Он вдруг встал, повернулся спиной к рассказчику и стал смотреть в окно на бушующее море. Затем набрался смелости и, не оборачиваясь, воскликнул:

– Слушайте, лицензиат!..

Абренунсио от неожиданности поперхнулся.

– Кхм... А?

– Я полагаюсь на сохранение вами врачебной тайны и только для вашего сведения должен сказать, что люди говорят правду, – торжественно произнес маркиз. – Бешеная собака укусила и мою дочь.

Он посмотрел на медика и облегченно вздохнул.

– Я знаю, – сказал врачеватель. – И полагаю, что именно это заставило вас прийти сюда в такой ранний час.

– Совершенно верно, – сказал маркиз и повторил свой вопрос, заданный им в больнице: – Что можно в таком случае сделать?

Вместо прежнего ответа, прозвучавшего приговором, Абренунсио пожелал осмотреть Марию Анхелу. Именно об этом маркиз и хотел его просить. Свидание завершилось ко взаимному удовлетворению, и оба сели в карету, ожидавшую у входа.

По возвращении домой маркиз нашел Бернарду в спальне. Она сидела перед зеркалом и с видимым удовольствием делала себе никому не нужную прическу, как в те давние времена, когда они в последний раз занимались любовью, о чем ее супруг и думать позабыл. Воздух полнился весенним благоуханием мыла всех сортов. Она посмотрела на отражение маркиза в зеркале и спросила его без признака злости:

– Мы теперь такие богатые, что стали раздаривать лошадей?

Маркиз ничего не ответил, взял с взбаламученной кровати дневной капот жены, набросил на плечи Бернарды и сухо приказал:

– Оденься. У нас – медик с визитом.

– Ради Бога, не надо, – сказала она.

– Не для тебя, хотя тебе тоже не помешало бы, – сказал супруг. – Он приехал к девочке.

– Девочка в нем не нуждается. Она или умрет, или не умрет. Другого не дано. – Но любопытство взяло верх, и Бернарда добавила: – А кто это?

– Абренунсио, – сказал маркиз.

Бернарда взъерилась. Лучше умереть на этом самом месте, голой и одинокой, чем ввернуть свою честь этому проходимцу-еврею. Он занимался врачеванием в доме ее родителей, и его оттуда выставили взащей, потому что он испытывал на больных свои методы лечения. Но маркиз стоял на своем.

– Даже если он тебе не по нутру, а мне – тем более, ты – ее мать. Твой святой долг позволить осмотр.

– Делайте что хотите, – сказала Бернарда. – Я умываю руки.

Вопреки всем ожиданиям Мария Анхела без всякого смущения позволила детально осмотреть свое тело и с таким любопытством наблюдала за манипуляциями медика, будто училась приводить в действие заводную игрушку.

– У нас, врачей, руки что глаза, – сказал ей Абренунсио, а девочка впервые весело улыбнулась.

Все доказательства ее прекрасного физического состояния были налицо. Несмотря на то что душа у нее была не на месте, тело выглядело вполне здоровым и в гармонии с ее возрастом: кое-где уже золотился густой пушок, а спереди наливались два бутона грядущего цветения. У нее были прекрасные зубы, ясные глаза, безупречные ноги и ловкие руки, а каждая прядь волос предвещала долгую жизнь. Она охотно и разумно отвечала на расспросы медика, но тот, кто ее мало знал, никогда бы не догадался, что все ее ответы не отражают действительности. Она заметно напряглась лишь тогда, когда медик обнаружил небольшой шрам на щиколотке. Тут проявилась находчивость Абренунсио:

– Ты упала?

Девочка не моргнув глазом ответила:

– С качелей.

Медик стал что-то говорить себе под нос по-латыни. Голос маркиза привел его в чувство.

– Переведите мне это на нормальный язык.

– Не могу, – сказал Абренунсио. – Сам с собой я говорю на вульгарной латыни.

Мария Анхела, казалось, без всякого волнения переносила медицинский осмотр, но когда он приложил ухо к ее груди, то явственно услышал стук ее сердца и заметил, что тело покрыто легкой испариной с чуть ощутимым запахом лука. По окончании процедуры Абренунсио ласково похлопал ее по щеке.

– Ты не из боязливых, – сказал он.

Оставшись с маркизом наедине, медик заметил, что девочка знает о бешенстве той собаки.

Маркиз удивился:

– Она кое о чем вам сообщила, а о главном ничего не сказала?

– Об этом мне сказала ее сердце, – ответил медик. – Оно металось, как лягушка в банке.

Маркиз не преминул тут упомянуть о других частых выдумках дочери, и в его голосе слышалось не порицание, а плохо скрываемое чувство отцовской гордости.

– Она, наверное, станет поэтессой, – сказал он.

Абренунсио не согласился, что ложь – непременный атрибут творчества.

– Чем прозрачнее язык, тем больше в нем поэзии, – сказал он.

Лишь одного так и не смог объяснить медик: откуда взялся запах лука, исходивший от вспотевшей девочки. Поскольку же он не установил никакой видимой связи между запахом и бешенством, то определил это как симптом, который ничего не значит. Позже Каридад призналась маркизу, что Мария Анхела втайне прибегла к магическим средствам рабов, которые заставляли ее жевать целебные листья и голой запирали в погреб с луком, чтобы уберечь от собачьего бешенства.

Абренунсио поведал без прикрас все, что знал о бешенстве. «Первые приступы незамедлительны и особенно тяжелы, если рана от укуса глубока и расположена близко к мозгу», – сказал он. Вспомнил и о том случае, когда один из его пациентов умер по истечении пяти лет, но так и осталось невыясненным, умер ли он от этого укуса или от чего-либо другого, им не замеченного. Быстрое рубцевание раны ни о чем не говорит: по прошествии времени может появиться опухлость, а рубец способен вздуться, открыться и кровоточить. Появляется неутолимая жажда. Агония обычно бывает такой мучительной, что смерть кажется благом. Тогда остается лишь ехать в больницу Милости Божьей или прибегнуть к помощи сенегальских колдунов, умеющих обуздывать еретиков и одержимых бесом. Если не принять таких мер, то маркизу придется самому надеть на девочку цепи и прикрепить к кровати, где она и будет лежать до самой смерти.

– В долгой истории человечества, – заключил медик, – не найти ни одного бесноватого водохлеба, который мог бы рассказать о своих пережитых мучениях.

Маркиз заявил о намерении нести свой крест, как бы тяжел он ни был, до самого конца. Дочь может умереть только дома. Медик наградил его взглядом, в котором читалось скорее сочувствие, нежели восхищение.

– Я и не ждал от вас иного решения, благородный сеньор, – сказал он. – Не сомневаюсь ни минуты в том, что вы крепки духом и способны на подлинное геройство.

Затем был оглашен окончательный диагноз, не предвещавший ничего плохого. Место укуса находилось далеко от области наибольшего риска, и никто не свидетельствовал о том, что свежая ранка кровоточила. Вполне возможно, что Мария Анхела и не подхватила заразы.

– Что же делать дальше? – спросил маркиз.

– А дальше, – сказал Абренунсио, – пусть в доме звучит музыка, цветут цветы, поют птицы; повезите ее к морю на закате солнца и делайте все, чтобы она была счастлива.

Медик распрощался взмахом шляпы и мудрой сентенцией на латинском языке. На сей раз он почтил маркиза переводом: «Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье».

Два

Никто не мог понять, отчего маркиз поддался своей глупой прихоти и почему его потянуло вступить во второй, явно неудачный брак, когда он мог бы жить благодатной жизнью вдовца. Мог существовать без забот и хлопот, унаследовав большое богатство и безграничную власть своего отца, кавалера Ордена Сантьяго, жестокого рабовладельца-изувера и бравого солдата-душегуба, для которого его властелин, король, не скупился на дары и почести, закрывая глаза на его безобразия.

Игнасио, единственный наследник, не мог похвастать какими-либо способностями, заметно отставал в развитии, был неграмотным до зрелых лет и никого не любил. Первые признаки жизни, в которую он включился лет двадцати, стал подавать, когда влюбился и проявил готовность жениться на одной из обиженных Богом обитательниц соседнего приюта Святой Девы, чьи песни и вопли услаждали его отрочество. Она была единственной дочерью в семье королевского стремянного и должна была освоить искусство делать седла для лошадей, дабы продолжить древнюю семейную традицию. Приобщения к этой мужской профессии она удостоилась и потому, что была столь скудоумной, что учить ее чему-нибудь другому не имело никакого смысла. Для сына же местного маркиза, который сам не блистал умом, такой брак был наилучшим решением его проблем.

Милашка Оливия была девушкой расторопной и покладистой, и не всякий мог распознать ее безмозглость. Впервые увидев ее в толпе девиц на террасе приюта, юный Игнасио сразу положил на нее глаз, и с этого же дня они стали одаривать друг друга знаками внимания. Она кокетливо кидала ему с террасы бумажных голубков. Он научился читать и писать, чтобы посылать ей записки. Таково было начало этой со временем обнародованной страсти, которую никому не было дано понять. Первый маркиз, возмущенный легкомыслием сына, велел ему публично отречься от своей дамы.

– Я не только не отрекись, – заявил Игнасио, – я уже получил от нее разрешение просить ее руки.

В ответ на упрек в безумии он выдвинул свой контраргумент:

– Ни один безумец не безумен, если вслушаться в его доводы.

Отец выслал его в свое дальнее поместье, наделив полномочиями хозяина и господина, которыми сын не пользовался. Жизнь обратилась для него в смерть. Юный Игнасио с детства испытывал страх перед всеми тварями, кроме кур. В поместье же он впервые увидел живую курицу и, представив себе, как бы эта птица выглядела, будь она величиной с корову, так напугался, что с той поры в каждой курице ему стало видеться самое что ни на есть страшное чудовище. По ночам он исходил холодным потом, а к утру просыпался в пугающе зловещей тишине лугов и полей. Цепной пес, не смыкая глаз охранявший его покой у дверей спальни, казался ему опаснее всех псов на свете. Он повторял себе: «Я живу в страхе от того, что я живу». Изгнание сделало его человеком угрюмым, настороженным, подозрительным, медлительным и немногословным, со склонностью к мистике, будто одиночество бросило его в тюремную камеру.

Однажды, в первый год изгнания, его разбудил глухой шум – как будто бы на реке вдруг прорвало плотину. Оказалось, что весь скот, принадлежавший поместью, уходит в абсолютном молчании и при полной луне из своих ночных загонів и с пастбищ. Животные двигались плотным строем куда-то через луга и заросли сахарного тростника, через болота и водные преграды. Впереди шли стада коров и табуны верховых и ломовых лошадей, за ними – свиньи, овцы, домашняя птица, и все это мрачное безмолвное скопище растворялось в ночной мгле. Даже голуби, и те улетели. К рассвету остался только цепной пес у дверей хозяйской спальни. Такая преданность породила к нему любовь маркиза и вообще ко всем псам, сторожащим дома.

Впавший в отчаяние от одиночества в своем опустевшем поместье, Игнасио отступился от своей любви и подчинился отцовской власти. Отцу же было мало принесенной в жертву сыновней любви, и он строго-настрого предписал ему в своем завещании жениться на наследнице какого-нибудь испанского гранда. Так случилось, что Игнасио сыграл пышную свадьбу с доньей Олалией де Мендоса, девицей весьма привлекательной и со многими разнообразными талантами, которую он, так и не лишив девственности, лишил радости иметь ребенка. В дальнейшем он жил, как всегда, жизнью никчемного холостяка.

Донья Олалия де Мендоса вывела его в свет. Они вместе ходили к воскресной мессе в церковь, хотя больше для того, чтобы показаться в обществе. Маркиза обычно была в черном платье с пышными нижними юбками, в умопомрачительных накидках, в высоком чепце с накрахмаленными, как у белых дам Кастилии, кружевами, и со свитой невольниц, разодетых в шелка с золотым шитьем. Она презирала домашние шлепанцы, которые в церкви надевали даже самые расфуфыренные дамы, и предпочитала оставаться в высоких сафьяновых ботинках, расшитых жемчугом. Маркиз в отличие от других знатных господ, которые не снимали вышедших из моды париков и изумрудных брошей, носил одежду из чистого хлопка и скромный берет. Однако он всегда заставлял себя участвовать во всех публичных акциях, ибо никогда не мог побороть страх перед общественным мнением.

Донья Олалия в свое время брала уроки у Скарлатти Доменико из Сеговии и получила диплом с отличием, дающий ей право преподавать музыку и пение в школах и монастырях. Она привезла из Испании клавикорды в разобранном виде, которые сама и собрала, а также различные струнные инструменты, на которых сама играла с непревзойденным мастерством и учила играть других. Она знакомила своих учеников-послушников с музыкальными новинками Италии, Франции и Испании и говорила, что приобщает их к вдохновенному лиризму Святого Духа.

Маркиза музыка не волновала. Он любил повторять на французский манер, что у него руки артиста, а слух – артиллерииста. Однако в тот день, когда в дом прибыли музыкальные инструменты, его заинтересовала итальянская лютня своей необычностью: не один, а целых два колка, широчайший звуковой диапазон, великое множество струн и нежнейший тембр. Донья Олалия настояла на том, чтобы он научился играть на лютне не хуже, чем она. Каждый день в апельсиновом саду они часами дергали струны: она – страстно и самозабвенно, он – с упорством каменотеса, пока вконец задерганная лютня не сдалась на милость исполнителей.

Музыка некоторым образом гармонизировала супружеские отношения, и донья Олалия решила добиться своего. В одну из грозowych ночей она, якобы дрожа от страха, явилась в спальню своего недотроги-мужа.

– Я – хозяйка половины этой кровати, – сказала она, – и пришла ею овладеть.

Он и ухом не повел. Она решила во что бы то ни стало – не убеждением, так принуждением – сделать по-своему. Жизнь, однако, не отпустила ей для этого достаточно времени. Девятого ноября они музицировали вдвоем в апельсиновом саду, воздух был чист, а небо безоблачно, когда вдруг их ослепила молния, оглушил страшный грохот, и донья Олалия упала как подкошенная наземь.

Взбужденный город воспринял трагическое происшествие как выражение гнева Господня в наказание за какой-то неотмоленный грех. Маркиз устроил супруге королевские похороны, на которых впервые появился в черных парчовых одеждах и со всегдашним траурным выражением лица. По возвращении с кладбища он с удивлением увидел, что его апельсиновый сад усеян бумажными голубками. Взял первую попавшуюся под руку бумажку и прочитал: «Этот удар нанесла тебе я».

До девяностолетия ему было еще далеко, но в дар церкви он уже успел передать большие земельные владения и другие имущественные ценности, составлявшие основу унаследованного майората: одно скотоводческое поместье в Момпоксе, другое – в Аяпеле; две тысячи гек-

таров в Махатесе недалеко от центральной усадьбы с табунами жеребцов и кобыл, земледельческое угодье и лучшую сахароварню на всем Карибском побережье. Однако люди считали, что главное богатство семьи составляют бескрайние невозделанные земли латифундии, границы которой якобы проходят где-то за болотами Ла Гуарилы и низинами Ла Пуресы до дремучих зарослей в устье Урабы. Так или иначе, но на виду у всех оставались лишь господский дом с двором-патио для немногочисленных невольников да небольшая сахароварня в Махатесе. Доминга долгое время вела все домашнее хозяйство, а старый Нептуно достойно исполнял роль кучера, отведенную ему первым маркизом, и продолжал ходить за оставшимися лошадьми.

Оказавшись в полном одиночестве, маркиз Игнасио потерял сон, мучимый прирожденным чувством страха местных аристократов, страхом быть убитым во сне своими собственными рабами. Задремав в мрачном жилище своих предков, он мог вдруг очнуться и вздрогнуть при мысли, что чьи-то горящие глаза устремлены на него из слухового окна. Или это была лишь галлюцинация? Однако он шел на цыпочках к двери, распахивал ее и натыкался на негра, который подглядывал за ним в замочную скважину. Ему чудилось, что они, крадучись по-кошачьи, шныряют по коридорам, голые и натертые кокосовым маслом, чтобы легче выскользывать из чужих рук. Напуганный до смерти всеми этими страхами, он приказывал не гасить свечи до утра, выгнал рабов, мало-помалу освоивших пустые комнаты, и поселил в доме псов, обученных всем приемам защиты и нападения.

Входная дверь была заперта на ключ. Французская мебель, бархатная обивка которой посерела от плесени, задвинута в дальний угол, гобелены, фарфор и старинные часы проданы, а в обнаженных комнатах развешаны холщовые гамаки, в которых легче переносить жару. Маркиз больше не ходил ни к мессе, ни в другие святые места, не нес на плечах паланкина со скульптурным образом Всевышнего в церковных шествиях, не соблюдал праздников и постов, хотя продолжал регулярно делать пожертвования и приносить дары церкви. Его постоянным прибежищем служил гамак – иногда в спальне, если одолевала августовская жара, а чаще – в съесту под апельсиновыми деревьями сада. Полоумные соседки бросали в него корки хлеба и отпускали в его адрес ласковые непристойности, но когда власти, в угоду маркизу, предложили переселить это беспокойное заведение в другое место, он поблагодарил, но предложения не принял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.